

ем, относящееся к 1814 году и ходившее в списках под именем Пушкина, не имеет, на наш взгляд, прав на присутствие в изданиях пушкинских сочинений даже как приписываемое ему, — ибо мы можем с большими основаниями выдвинуть кандидатуру иного автора. Этот автор — Алексей Дамианович Илличевский, в круг сочинений которого «Цель нашей жизни» входит как естественная и органическая часть.

*Впервые:* Новое литературное обозрение. 1992. № 1.

<sup>1</sup> Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. 2-е изд. Берлин, 1870. С. IX.

<sup>2</sup> Старина и новизна. Кн. VIII. М., 1904. С. 33.

<sup>3</sup> Русский архив. 1876. № 10. С. 206—208.

<sup>4</sup> Данилов В. В. Стихотворение «Цель нашей жизни», приписываемое Пушкину//Пушкин. Исследования и материалы: Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. М.; Л., 1953. С. 298—313.

<sup>5</sup> Из материалов пушкинского Лицея/Публикация Н. Н. Петруниной//Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIII. Л., 1989. С. 335—337.

<sup>6</sup> Кюхельбекер В. К. Избранные произведения: В 2 т. М.; Л., 1967. Т. 1. С. 65—69.

<sup>7</sup> Грот К. Я. Пушкинский лицей: (1811—1817): Бумаги первого курса, собранные академиком Я. К. Гротом. СПб., 1911. С. 48.

<sup>8</sup> Пушкин. Исследования и материалы: Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. С. 312.

<sup>9</sup> Календарь муз на 1826 год, изданный А. Измайловым и П. Яковлевым. СПб., 1826. С. 11; перепечатано (с подп.: В. Г.): Сын отечества и Северный архив. 1834. № 11. С. 139. Автограф стихотворения — РНБ (ГПБ), ф. 225 (В. Н. Григорьева), № 11 и в рукописном сборнике Григорьева «Прегрешения моей молодости» (ф. 225, № 9). О популярности его см., напр.: Макаров Н. Мои семидесятилетние воспоминания... СПб., 1881. Ч. II. С. 132—138.

<sup>10</sup> Грот К. Я. Пушкинский лицей... С. 184.

<sup>11</sup> [Алексеев М. П.] [Примечание к заметке И. И. Грибушина «К „Скупому рыцарю“»]/Временник Пушкинской комиссии. 1973. Л., 1975. С. 84—85.

<sup>12</sup> Le printemps d'un proscrit, suivi de l'enlèvement de Proserpine, sixième éd., revue et corrigée; par M. Michaud. Paris, 1811. P. 84.

<sup>13</sup> Грот К. Я. Пушкинский лицей... С. 136.

<sup>14</sup> Там же.

## ПУШКИНСКАЯ ПОРА



### Встреча

*(Из комментариев к мемуарам о Карамзине)*

Среди довольно обширной мемуарной литературы о Карамзине есть один небольшой очерк, который мы могли бы назвать литературным портретом. Автор его — Фаддей Булгарин, стяжавший себе в истории русской литературы столь незавидную славу. Очерк этот, под названием «Встреча с Карамзиным», ценили, однако, даже самые рьяные противники Булгарина за живость и занимательные подробности; поклонники же Карамзина уверяли, что его портрет написан Булгариным «так, как нигде и никем еще не был написан», и что эта «встреча» является для них «одною из приятнейших в литературном мире»<sup>1</sup>. Даже И. И. Дмитриев, ближайший из друзей Карамзина, «досадовавший» на Булгарина за его нападки на историка, считал, что она «описана верно и прекрасно»<sup>2</sup>. Эти воспоминания перепечатаны теперь в одномомнике «Сочинений» Ф. Булгарина и доступны широкому читателю<sup>3</sup>, который может поверить впечатления современников собственными наблюдениями и, без сомнения, оценит и увлекательность повествования, и драгоценные черточки быта, и детали, которых не найдет у других мемуаристов. Вообще, как бы ни относиться к самому Булгарину, его «Встреча с Карамзиным» принадлежит к лучшим из современных рассказов об историографе. Биографы Карамзина постоянно пользовались им, и когда М. П. Погодин вклю-



чил его уже в 1860-х годах в свой знаменитый труд «Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников», по причине верности изображения, К. С. Сербинович, хорошо знавший Карамзина в его последние годы и даже исполнивший при нем обязанности секретаря, заметил на полях рукописи: «Я также нахожу вообще описание *очень верным*, не отвечая только за верность приводимых здесь разговоров»<sup>4</sup>.

Сербинович писал сдержанно, ибо он знал нечто, Погодину неизвестное, но не счел нужным входить в объяснения.

• • •

Сербинович учитывал, что по прошествии нескольких десятилетий мемуары читаются уже иначе, чем в момент своего появления. Они утрачивают актуальность, которая вызвала их к жизни и направила авторское перо. Вместе с тем он знал и о некоей «сверхзадаче», которая наложила отпечаток на страницы очерка. В нем было важно не только то, что сказано, но и то, что не сказано, а также намеки и акценты, рассчитанные на посвященных. И наконец, в них была важна фигура автора. Она двойится: тот, кто действует, и тот, кто вспоминает и записывает, — уже разные лица; между ними пролегли годы и события, иной раз резко менявшие угол зрения и отношение к прошлому.

«Встреча с Карамзиным» имеет точную дату: зима 1819 года. Как мы увидим далее, эта дата очень существенна. То был год, когда тридцатилетний польский литератор Фаддей (Тадеуш) Булгарин появился в Петербурге после десятилетнего отсутствия, чтобы уже остаться здесь навсегда. За его плечами была богатая и почти авантюрная биография, на которую он сделал глухой намек, упомянув о своих «странствованиях по Европе». Он был сыном польского шляхтича, причастного к восстанию Тадеуша Костюшки (в честь которого и был назван); после разгрома восстания отец был сослан, семья лишилась средств, но победитель Костюшки генерал Ферзен взял под свое покровительство полюбившегося ему шестилетнего прокашливого мальчика. Его воспитывают в Сухопутном кадетском шляхетном корпусе, и семнадцатилетним корнетом уланского полка он воюет против наполеоновских войск в Пруссии и Финляндии. Проходит шесть лет — и 8-й польский уланский

полк, где служит Тадеуш Булгарин, в составе 2-го пехотного корпуса маршала Удино под знаменами императора отправляется в поход на Россию. Новый поворот судьбы — и бывший капитан наполеоновской армии, лишившийся средств к существованию, становится литератором: в Вильне его принимают в литературное товарищество «шубравцев». К «шубравцам» и ближайшему их окружению восходят и его литературные связи — с Осипом Сенковским, будущим знаменитым «бароном Брамбеусом», с выдающимся историком Иоахимом Лелевелем.

Весной 1819 года он приезжает в Петербург и уже в июне обращается за разрешением издавать в столице ежемесячный литературно-критический журнал для женщин на польском языке. Он собирается выпускать его «вместе с несколькими соотечественниками»<sup>5</sup>: он не знает еще никого из русских писателей. Н. И. Греч, познакомившийся с ним через несколько месяцев, вспоминал, что он каким-то образом попал «во французский круг у генерала Базена, Сенновера и пр., читал им свои сочинения, которые кто-то переводил ему на французский язык»<sup>6</sup>.

Таков был в мемуарах Булгарин «действующий».

• • •

Сцена меняется — и перед нами Булгарин «вспоминающий».

Он не любил самого Карамзина и невысоко ставил его «Историю». Исторические занятия были не чужды ему самому, и с 1822 года он начинает издавать журнал «Северный архив», где систематически публикует исторические статьи и документы. Когда вышли в свет первые восемь томов «Истории Государства Российского», а затем и знаменитый девятый том — об «ужасах» Грозного, он примкнул к хору его критиков. Он обратился к Иоахиму Лелевелю, прося его написать критический разбор. Лелевель написал статью, не удовлетворившую Булгарина академичностью тона: ему хотелось хлесткой полемики, сенсации, скандала, привлекавшего подписчиков. Он льстил, интриговал и сам, и через третьих лиц, чтобы заставить критика «разругать» «Историю»; он уверял Лелевеля, что весьма влиятельные особы одобряют его критику и что пора поставить на место этого превознесенного всеми Карамзина, у которого нет ничего, «кроме трескучих фраз»<sup>7</sup>. Наконец, он выступил

сам, впрочем, соблюдая уважительный тон; он укорил Карамзина в пристрастном принижении заслуг Бориса Годунова. Карамзин, верный своему старинному правилу не вступать в полемику о своих сочинениях, не отвечал Лелевелю, не ответил и Булгарину, однако был задет. Он опасался, помимо всего прочего, что Булгарин — лишь «легкое, передовое войско», за которым может двинуться мрачная и небезопасная по тем временам охранительная сила, уже вступавшая за Ивана Грозного<sup>8</sup>.

Когда Карамзин умер, Булгарин, уже известный журналист, издатель «Северной пчелы», решил собрать свои старые записи и напечатать воспоминания. Может быть, здесь был и тайный умысел — показать, что он никогда не был недоброжелателем историографа. Но он ничего не забыл и ни от чего не отказался.

Существует интереснейшая неопубликованная запись в дневнике уже известного нам К. С. Сербиновича, знакомого с Булгариным домашним образом. Под 2 мая 1827 года читаем: «За столом, который начался устрицами, говорено о разном — о Польше и ее *gokoszach* <мятежах> — о Карамзине — Булгарин поддерживает свои критики — я опровергаю их — спор — после обеда спор продолжался — Греч уснул на диване — но я с Булгар<иным> разговаривал долго; он показывает свои записи, где его разговоры с Карамзиным — отдает справедливость: его любви к просвещению, — и его искренности вести разговор. „Хочу представить его в виде доброго немецкого пастора, окруженного семейством и друзьями“»<sup>9</sup>.

Именно так он и написал свои мемуары.

Он мог сделать это не кривя душой: эти качества — просвещенность, доброту, благотворительность — он ценит в Карамзине и проповедовал в публике. Культурного же значения труда Карамзина он не коснулся вовсе, сделав лишь намеки на свои с ним разногласия об историческом слоге.

Булгарин писал быстро. Летом 1827 года очерк был готов и передан Дельвигу, издававшему альманах «Северные цветы».

\* \* \*

«Встреча с Карамзиным» начинается с описания салона у некоего французского дворянина, содержателя аристократического пансиона, где по вечерам собирались литераторы-дилетанты читать свои сочинения на

французском языке. Именно сюда попал молодой Булгарин, только что приехавший в Петербург.

По некоторым косвенным данным мы можем угадать в его описании дом барона Альфреда Жана Этьена Шабо, одного из преемников аббата Николя, образовавшего свой знаменитый католический пансион в Петербурге еще в екатерининское царствование. Репутацию пансиона Шабо усиленно поддерживала газета «*Conservateur impartial*»; И. И. Давыдов, будущий профессор Московского университета, острит, что «Беспристрастный хранитель», как переводилось ее название, говорит в этом случае как пристрастный служитель («*serviteur partiel*»). Ф. Ф. Вигель, мемуарист осведомленный, но также пристрастный, вспоминал, что «учение там было плохое, по-прежнему аристократическое: после французской литературы, только уже новейшей, главными предметами были танцы и фехтование». Карамзин был, однако, снисходительнее: он был знаком с бароном и своего племянника Бориса, сына брата Александра Михайловича, поместил именно в этот пансион. Зимой 1818—1819 года он несколько раз посетил его, остался доволен и писал брату, что не знает лучшего. Дом Шабо находился в 3-й Адмиралтейской части на Фонтанке, близ Обухова моста (ныне участок дома № 117 по наб. Фонтанки), минутах в сорока ходьбы от дома Муравьевой (ныне — Фонтанка, 25), где жил Карамзин<sup>10</sup>.

Из числа посетителей салона Булгарин упомянул лишь себя самого да «г-на Сен-Мора», с которым, по-видимому, приятельствовал. Когда в начале февраля 1820 года он нанес свой первый визит издателю «Сына отечества» Н. И. Гречу, — визит, положивший начало их долговременному сотрудничеству, — он сделал это по просьбе Сен-Мора, которого аттестовал в разговоре как «человека необыкновенно умного, ученого и благородного, который намерен читать лекции о французской литературе»<sup>11</sup>.

Этот «г-н Сен-Мор», Эмиль Дюпре де Сен-Мор был французским литератором, ультрароялистом, издавшим в Париже нашумевшую книгу сатирических стихов «Вчера и сегодня». Он приехал в Петербург летом 1819 года и в короткое время перешагнул с лучшими русскими литераторами: Крыловым, Дмитриевым, Гнедичем; он увлекся русской литературой и в 1823 году издал в Париже свою известную «Русскую антологию». Русского языка он не знал, но российские поэты сделали для не-

го подстрочники своих стихов; он умудрился даже получить от С. Л. Пушкина подстрочник фрагментов из «Руслана и Людмилы». Когда в марте — апреле 1820 и потом в 1821 году он объявил курс своих лекций по французской литературе, на него записались многие из великосветского общества, а из литераторов — А. И. Тургенев и Карамзин с женой. Одна из лекций, прочитанная 5 марта, была посвящена Мольеру; она была напечатана в 1820 году в русском переводе в «Сыне отечества».

Зимой же 1819—1820 годов Сен-Мор «занимал петербургскую публику своими *Литературными вечерами*, читая на оных лучшие произведения французской словесности с своими замечаниями»<sup>12</sup>, и совершенно естественным было его появление в петербургском французском аристократическом салоне на литературном вечере. В этот раз, как рассказывал Булгарин, «один известный русский чтец» должен был «декламировать сцены из мольеровской комедии» и ожидалось прибытие «нескольких отличных русских литераторов».

Имя этого чтеца мы можем назвать точно: Александр Алексеевич Плещеев, сын старинных друзей Карамзина, которым были посвящены «Письма русского путешественника»; меломан и поэт, писавший по-французски, композитор, актер, владевший в совершенстве искусством сценического чтения. В 1819 году он служил в театральной дирекции, заведывая русской оперой и французским театром, а в 1820-м вдовствующая императрица Мария Федоровна сделала его своим личным чтецом. Он был участником «Арзамаса» и коротким приятелем Александра Тургенева и в особенности Жуковского; без сомнения, он был знаком и с Шабо: в свое время он окончил пансион Николая, а в начале 1820-х годов жил в его доме. Быть может, следом чтения, о котором рассказал Булгарин, были куплеты к нему Сен-Мора, процитированные Александром Тургеневым в письме к Вяземскому от 7 января 1820 года: «Выпьем за успех Мольера, которому его игра придала столь высокую цену»<sup>13</sup>. Вечер происходил, стало быть, где-то в декабре 1819 года.

В этом году Карамзин вернулся в город из Царского Села 21 октября. Уже начались холода, и озеро замерзло, а в декабре морозы доходили до 30°. С началом зимы он выезжал из дому редко, но здесь был случай особый: чтение Плещеева, которого он знал еще

подростком. Он явился, немного опоздав, когда чтение уже началось.

\* \* \*

«...Началось чтение мольеровской пьесы, — рассказывал Булгарин. — Вдруг дверь в зале потихоньку открывается, и входит человек, высокого роста, немолодых лет и прекрасной наружности. Он так тихо вошел, что нимало не расстроил чтения, и, пробираясь за рядом кресел, присел в самом конце полукруга. Орденская звезда блестела на темном фраке и еще более возвышала его скромность. Другой вошел бы с шумом и шарканьем, чтоб обратить на себя внимание и получить почетное место. Незнакомец никого не беспокоил. Я смотрел на него с любопытством и участием. Черты его лица казались мне знакомыми, но я не мог вспомнить, где и когда я видел его. Лицо его было продолговатое; чело высокое, открытое, нос правильный, римский. Рот и губы имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали добродушием. Глаза небольшие, несколько сжатые, но прекрасного разреза, блестели умом и живостью. Вполовину поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы. Физиономия его выражала явственно душевную простоту и глубокую проницательность ума. Отличительные черты его лица были две большие морщины при окончании щек, по обеим сторонам рта. Я, по невольному влечению, искал его взгляда, который, казалось, говорил душе что-то сладостное, утешительное.

На его одушевленной физиономии живо отражались все впечатления, производимые чтением. Ни одно острое слово, ни одна счастливая мысль, ни одна удачная черта характера не ускользнули от его внимания. Неудовольствие изображалось на лице, как облако в чистой воде, когда чтец дошел до некоторых плоскостей, встречающихся в комедиях Мольера, жертвовавшего иногда вкусу своего современного партера. Я не сводил глаз с незнакомца и измерял по его ощущениям свои собственные.

Дошла очередь до моей статьи. Она была написана мною вследствие моего спора с французами о немецкой трагедии и заключала в себе обозрение и краткий разбор шиллеровских драматических творений. Прежде я хладнокровно представлял мои безделки на суд снисходительных любителей словесности, но на этот раз сердце

мое забилось сильнее: я чувствовал, что в незнакомце имею знающего и опытного судию. Во время чтения г. Сен-Мора я с боязнию поглядывал на незнакомца и старался вычитать мой приговор на его лице. Счастье мне благоприятствовало: я с радостью приметил, что незнакомец был доволен.

Кончилось чтение, слушатели встали с мест своих, и начался разговор. С нетерпением подбежал я к хозяину, чтобы спросить об имени занимательного незнакомца. «*Это Карамзин!*» — отвечал хозяин и поспешил к нему благодарить за посещение.

Карамзин! воскликнул я так громко, что он обернулся и посмотрел на меня».

...Этого человека историограф никогда не видел ни в свете, ни среди литераторов, хотя тот и другие были ему более или менее знакомы. Перед ним стоял мужчина «лет тридцати, тучный, широкоплечий, толстоносый губан, порядочно одетый»<sup>14</sup>. По его произношению и разговору было очевидно, что он не француз.

Сен-Мор представил его Карамзину. «„Я согласен с вами насчет трагедии, — сказал он мне после первого приветствия. — Классики требуют слишком точного соблюдения трех единств; романтики отвергают все условия искусства. Вы справедливо говорите, что надлежало бы выбрать средину между двумя крайностями. Три единства слишком стесняют круг действия: соединение отдаленных эпох в драме развлекает внимание и ослабляет занимательность целого. Пусть появится другой Расин во Франции — и он сделает переворот в мнениях, ибо людей должно убеждать не теориями изящного, а примерами“. При сих словах Карамзин приятно улыбнулся и примолвил: „Я говорю не насчет вашей теории: говорить правду все-таки надобно. Следствия приходят после“».

Четырьмя годами позднее Булгарин напечатает в своем альманахе «Русская Талия» статью «Междудействие, или Разговор в театре о драматическом искусстве», где повторит некоторые общие идеи и даже формулы несохранившейся статьи, читанной им в 1819 году. Тремя единствами, напишет он, французы «стеснили круг действия своей драматургии». О романтическом театре и Шиллере в «Междудействии», впрочем, речи не было; вся вторая половина его была посвящена обоснованию необходимости русского национального театра. Статье возражали; Булгарин объявил, что часть статьи,

касающаяся французского театра, заимствована полностью из знаменитых «Чтений о драматической литературе и искусстве» Августа Шлегеля — манифеста немецких романтических теоретиков; остальная часть — о русском драматическом искусстве — принадлежит ему<sup>15</sup>. Карамзин булгаринских мемуаров оказался втянутым в спор «классиков» и «романтиков», и занял в нем умеренную позицию — такую же, как и сам Булгарин, с мыслями которого он согласился.

Так Булгарин отвечал своим критикам.

Разговор их был недолог, — кое-что мемуарист опустил. «Карамзин сделал мне несколько вопросов насчет моего пребывания за границей...», — итак, он успел сообщить что-то новому знакомому о своей бурной биографии?

Он просил позволения посетить Карамзина и был приглашен к вечерним чаепитиям, начинавшимся в 9 часов — время отдыха и визитов в доме Карамзина. Через несколько дней он уже поднимался на верхний этаж дома Муравьевой близ Аничкова моста.

Его впустили без доклада. «В первой комнате, за круглым чайным столиком, на котором стоял самовар, помещалось целое семейство Карамзина; сам он сидел в некотором отдалении, в полукруге посетителей. Карамзин встретил меня в половине комнаты, дружески пожал руку, произнес громко мою фамилию, представляя другим собеседникам, и просил садиться. В его приемах, обращении и во всех движениях соединялось глубокое познание светских приличий с каким-то необыкновенным добродушием и простотою патриархальных времен».

Здесь в воспоминания Булгарина входит тема цивилизации.

Социологи и философы XVIII—XIX веков считали одним из самых важных признаков цивилизованности искусство общения и беседы. Когда госпожа де Сталь в 1811 году посетила Россию, она была разочарована, не найдя в светском обществе развитой культуры беседы. Это был для нее знак малой образованности и непривычки к интеллектуальному разговору.

Об этом потом напишет Пушкин в своем «Рославле».

Под пером Булгарина дом Карамзина предстает как маленький мир европейской цивилизованности. В нем все равны, и никому не отдано преимущество, а хозяин,

как искусный дирижер, спаивает в единое целое различные части, сближая между собой и «русских перво-классных чиновников», и «литераторов», и «иностранцев». «Он знал в совершенстве *искусство беседовать*, — пишет Булгарин, словно отвечая г-же де Сталь, — которое вовсе различно с *искусством рассказывать*...». И еще одно свойство присуще этому миру: он самобытен, а не подражателен; он сознает свою национальную принадлежность и гордится ею, не растворяя ее в общем потоке европеизированной культуры. Это было совершенно справедливо в отношении Карамзина, — но и здесь мемуарист преследует свою особую цель и начинает сгущать краски.

«Карамзин охотно говорил по-русски, и говорил прекрасно. Иностранные языки он употреблял только с иностранцами».

Старик Вяземский, как и Сербинович, читавший в 1860-х годах книгу Погодина с этими мемуарами, пометил на полях рукописи: «В разговоре Карамзин, как и Пушкин, Жуковский и многие, употреблял французские слова, когда они удобно выражали мысль».

«В его речах, — продолжал Булгарин, — не было изысканных выражений и ссылок на авторов, столь утомительных в разговоре; но речения его сами по себе имели полноту и круглость; он никогда не изъяснялся отрывисто. Соблюдая вообще хладнокровие в разговорах, он воспламенялся только когда речь заходила о России, об истории и об его старинных друзьях. Тогда физиономия его одушевлялась особенною выразительностью, и взоры искрели».

«Тут Булгарин авторствует», — иронически замечает Вяземский<sup>16</sup>.

Булгарин «авторствовал» с умыслу. Он писал тогда, когда противники его уже открыто напоминали ему его службу во французской армии. Он намерен был показать им, что не уступит никому в приверженности национальным русским началам.

И он подробно пересказывает свой разговор с Карамзиным, в котором сравнивал Францию с финифтью, а Россию — со слитком золота.

«Один из собеседников распространился в похвалах веселости и уму французского народа. Карамзин сказал: „Вы правы, но в русском народе веселость и ум — также врожденные качества. Немудрено веселиться под светлым небом Франции, под тенью каштанов, среди ви-

ноградников, поблизости больших городов; но у нас, среди трескучих морозов, в дымных избах или в тяжком труде краткого лета, крестьянин всегда весел, всегда поет или шутит. У нас без школ поселяне выучиваются самоучкою грамоте, и разряд наших сельских поэтов и романистов едва ли не многочисленнее класса привилегированных литераторов. Много ли можно насчитать тех счастливых, которых сочинения сохраняются столь долго, как русские песни и сказки?» <...> Разговор обратился на русские песни и сказки, и Карамзин, объясняя красоты некоторых из песен и занимательность сказок, примолвил: „Я давно уже имел намерение собрать и издать лучшие русские песни, если возможно, расположив хронологическим порядком, и присоединить к ним исторические и эстетические замечания. Другие занятия отвлекли меня от сего предприятия, но я не отказался от него. Я не доволен всеми нашими собраниями, в которых нет ни выбора, ни порядка!»».

Эта запись точна; в конце 1820 года Карамзин почти буквально то же говорит Сербиновичу о «старинных русских песнях»: «Давно сам намеревался собрать лучшие и напечатать». И об этом же он упоминает в разговоре с фольклористом И. П. Сахаровым<sup>17</sup>. Достоин внимания, что это намерение владеет историком в 1819—1820 годах, тогда в «Сыне отечества», «Благонамеренном» и «Вестнике Европы» одна за другой печатаются статьи Н. А. Цертелева, посвященные «старинным русским сказкам и песням». Цертелев собирал фольклорные тексты и настаивал на издании именно песен. Одна из его статей прямо называлась «Об издании старинных русских стихотворений»; он сообщал, что им собрано уже 300 образцов, и пытался обосновать принципы отбора и публикации: он сетовал на малое внимание к народной лирике, отсутствие желания издавать ее и недостаточность старого издания Прача<sup>18</sup>.

В конце 1820 года Карамзин затребовал из Публичной библиотеки именно это издание. Сохранился текст его расписки, данной А. Н. Оленину. Подлинник ее до нас не дошел: он находился в утраченной ныне коллекции рукописей Лейпцигской библиотеки:

«1820 года декабря 29 я нижеподписавшийся взял от его превосходительства господина директора Императорской публичной библиотеки книгу «О русском народном пении», без заглавного листа, известную под на-

званием «Песенник Прача», с тем, чтобы при первом востребовании возвратить оную в целости.

Н. Карамзин»<sup>19</sup>.

Он не только лелеял мысль об издании, но и принимал некоторые конкретные шаги. По-видимому, программа Цертелева казалась ему неудовлетворительной. Но изданию этому не суждено было осуществиться, как, впрочем, и цертелевскому замыслу.

Булгарин окончил свой очерк третьим, заключительным эпизодом. Через несколько дней он встретил Карамзина ранним утром в одной из отдаленных улиц города. Была оттепель: «мокрый снег падал комками и ударял в лицо». Карамзин совершал свою обычную прогулку. Он объяснил Булгарину, что разыскивает дом полуншего чиновника, который не раз просил у него подавание именем голодных детей. Они вместе нашли квартиру и случайно повстречали хозяина; он был пьян. «Теперь буду умнее, — сказал благотворитель, — и не дам денег ему в руки, а в дом».

В письмах Карамзина и основанных на дневниковых записях воспоминаниях Сербиновича есть упоминание о похожем эпизоде, или эпизодах. В конце октября 1820 года Сербинович записывает: «При прощании Николай Михайлович дал мне адрес бедного отставного чиновника, Щелкунова, от которого получил он просительное письмо; я отыскал его с малолетними детьми близ Вознесения, в доме Шелковникова. Трудно была угадать, все ли правда, что он говорил о себе, но нельзя было сомневаться в том, что доказывали на руках его отмороженные пальцы; этому бедствию он подвергся в страшную зиму 1812 года. Николай Михайлович поручил мне передать ему 25 рублей»<sup>20</sup>.

Через месяц, 28 ноября 1820 года, Карамзин пишет брату Василию Михайловичу в Симбирск:

«Бедному, который к вам писал, отдано только 25 числа, для того, что он более нагл, нежели беден, и здесь всем известен своими письмами; а вас прошу отдать за меня столько же рублей какому-нибудь симбирскому бедняку»<sup>21</sup>.

Вероятно, речь идет об одном и том же лице, а, может быть, и об одном и том же случае, если «25 число» в письме означает число предшествующего месяца. Может быть, впрочем, что бедняк-вымогатель решил получить деньги с обоих братьев и тем вызвал необычное

раздражение, которое сквозит в письме к Василию Михайловичу.

В рассказе Булгарина все проще и нагляднее, именно так, как происходит обычно в его романах и очерках: почти хрестоматийный пример человеколюбия, поднимающегося над человеческими слабостями и пороками. Мы не можем, конечно, исключить полностью, что Булгарин в самом деле был свидетелем описанной им сцены, — но не менее вероятно и то, что он создал ее сам на основе совершенно подлинных фактов, в которых ему был важен прежде всего их этический смысл.

Мемуарный очерк нес на себе явные черты художественного метода Булгарина. В нем были ведущие дидактические идеи, подтвержденные конкретными примерами. Таких идей было три: цивилизованность, патриотизм, филантропия. «Отдаленное потомство скажет: Карамзин был великий писатель и — благородный, добрый человек. Одно стоит другого. Но какое счастье, если это соединено в одном лице!».

Этот-то рассказ и передал Булгарин Дельвигу для «Северных цветов».

\* \* \*

Никаких внешних причин отвергнуть статью Булгарина у Дельвига не было. Она была хороша и достоверна. Булгарин не напрасно, как мы видели, ограничился рассказом о 1819 году, когда полемика об «Истории» он еще не вел. Отношения же с Дельвигом и пушкинским кругом в 1827 году у него были вполне лояльны, и он печатался в «Северных цветах».

Публикации воспротивился Пушкин.

Он узнал о том, что она готовится, в июле 1827 года от ближайшего помощника Дельвига по альманаху Ореста Сомова, и 31 июля отправил Дельвигу, уехавшему в Ревель, возмущенное письмо: «...У вас Булгарин? Кстати: Сомов говорил мне о его «Вечере у Карамзина».

Не печатайте его в своих «Цветах». Ей-богу, неприлично. Конечно, вольно собаке и на владыку лаять, но пускай лает она во дворе, а не у тебя в комнатах. Наше молчание о Карамзине и так неприлично, не Булгарину нарушать его. Это было б еще неприличнее»<sup>22</sup>.

Мы не будем сейчас разбирать подробно это письмо, о котором говорили специально и в другом месте. «Молчал» о Карамзине весь пушкинский круг: молчал,

негодую в то же время на печатные статьи, где шла канонизация идеального верноподданного, христианина, друга царствующего дома. Карамзин для его окружения был иным: великим тружеником, независимым в своем общественном поведении, исключительным явлением Литератора в чиновном государстве. Но прямо противоречить официально утвержденному канону было невозможно<sup>23</sup>.

«Неприличным» было то, что на фоне этого молчания Вяземского, Пушкина, Жуковского собирався поднять свой голос старинный неприятель историографа, преобразившийся теперь, после его смерти, в почитателя и чуть что не друга.

В «Северных цветах на 1828 год» и так уже печатался полуофициальный некрологический очерк о Карамзине, принадлежавший перу соратника Булгарина — Николая Греча.

Когда-то автор этих строк высказал предположение, что та спешность, с какой Пушкин написал для «Северных цветов» свои знаменитые затем воспоминания о Карамзине, объяснялась необходимостью противопоставить их некрологии Греча. Но, может быть, такое объяснение недостаточно.

Может быть, — и даже вероятно, — мемуары Пушкина вытесняли мемуары Булгарина.

Пушкин писал об «Истории» Карамзина и только о ней. Знал ли он о содержании очерка Булгарина или нет, — в самых своих основаниях его воспоминания противостояли булгаринским. Карамзин был не «немецким пастором», а русским писателем и гражданином, а «История» его — общественным подвигом и «подвигом честного человека».

Два осмысления, две, если угодно, историко-культурные концепции вступали в противоборство.

Было бы очень интересно знать, под каким предлогом Дельвиг сумел отказать Булгарину, — не сказал ли он ему, например, что в редакционном портфеле уже лежат воспоминания Пушкина?

Как бы то ни было, Булгарин взял статью обратно и, кажется, без особых неудовольствий, потому что в «Северных цветах на 1828 год» напечатана другая его статья. Он не порвал, стало быть, связей с альманахом, что делал в тех случаях, когда считал себя оскорбленным. Он передал свой мемуарный очерк своему знако-

мому А. А. Ивановскому, издававшему в это же время «Альбом северных муз».

Парадоксально, но русская литература выиграла от этого несостоявшегося конфликта, и наряду с талантливой статьей Булгарина мы имеем набросок о Карамзине, носящий печать пушкинского гения. Но может быть, еще более парадоксально, что этот последний мог бы сам собой и не появиться в печати, и что косвенным образом Булгарину мы оказались обязанными пушкинскими воспоминаниями о Карамзине.

*Впервые:* Николай Михайлович Карамзин: Юбилей 1991 года Сборник научных трудов М., 1992

- 1 Дамский журнал. 1828 № 7 С. 28—29, ср Московский вестник. 1828. № 6. С. 198.
- 2 Дмитриев И. И. Сочинения. СПб., 1895 Т 2 С 299. (Письмо к П. П. Свиныну от 15 апреля 1829 г.)
- 3 Булгарин Фаддей. Сочинения М., 1990 С 668—676 Далее цитация по этому изданию.
- 4 РГБ, ф. 231, Пор/1, 16.1 ж., л. 79 об.
- 5 См. Skwarczyński Z. Tadeusz Bułharyn a wileńskie Towarzystwo Szubrawców. — Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Sprawozdania z Czynności Posiedzeń Naukowych. 1963. R. XVII, 8; Meiszutowicz Z. Powieść obyczajowa Tadeusza Bułharyna. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdansk. 1978. Str 13; Шебальский П. Материалы для истории русской цензуры: 1803—1825//Беседы в Об-ве любителей российской словесности при имп. Московском университете. Вып. 3. 1871. С. 33—34; Рейтблат А. Видок Фиглярин (История одной литературной репутации)//Вопросы литературы 1990. № 3. С. 79—83.
- 6 Греч Н И Записки о моей жизни. М., Л., 1930. С. 683.
- 7 Письмо от 23 февраля 1823 г. Цит. по кн. Попков Б. С Польский ученый и революционер Иоахим Лелевель. М., 1974. С 26
- 8 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву СПб., 1866. С. 391 (Письмо от 18 февраля 1825 г.)
- 9 РГАЛИ, ф 195, оп. 1, № 5586, л. 30—30 об.
- 10 О пансионе и доме Шабо см. Остафьевский архив. СПб., 1899 Т 1. С 639 (Прим. В. И. Саитова); Русский архив. 1889. Кн. III С 550 (Письмо И. И. Давыдова к А. А. Прокоповичу-Антояскому от 16 января 1819 г.); Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1892. Ч VI С 23; Аллер С. Указатель жилищ и зданий в С.-Петербурге, или Адресная книга на 1823 год. СПб., 1823 (Плещеев А. А.); Санкт-петербургские ведомости. 1825 № 48. С 614 (О залоге каменного дома Шабо в Адмиралтейской части 3-го квартала, № 163) См. данные картотек Б. Л. Модзалевского и Н. И. Фокина в ИРЛИ. Письмо Карамзина к брату от 15 мая 1819 г см. Российский архив. [Вып.] II—III. М., 1992 С 36
- 11 Греч Н. И. Ук. соч. С. 684
- 12 О Мольере//Сын отечества 1820 № 16 С 152—159. Ср. Остафьевский архив Т 1 С 388—389 (Комм В. И. Саитова).
- 13 Там же Т II. С 4.
- 14 Греч Н И Ук. соч С 684.



- <sup>15</sup> Русская Талия, подарок любителям и любительницам отечественного театра на 1825 год/Издад Фаддей Булгарин//СПб., [1824]. С. 344; Северная пчела. 1825. № 14. 31 янв.; № 25. 26 февр.
- <sup>16</sup> РГБ, ф. 231, Пог/1, 16. 1 ж., л. 82.
- <sup>17</sup> См.: Трубицын Н. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. СПб., 1912. С. 330—332; Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1958. Т. 1. С. 142—143.
- <sup>18</sup> Цертелев Н. А. Об издании старинных русских стихотворений//Благонамеренный. 1820. № 8. С. 140; ср. также его объявления о готовящемся издании в «Сыне отечества» (1820. № 18. С. 277) и «Вестнике Европы» (1820. № 8. С. 316).
- <sup>19</sup> Шляпкин И. А. Письма русских писателей, хранящиеся в Лейпцигской библиотеке. РНБ, ф. 865, ед. 142, л. 6.
- <sup>20</sup> Русская старина. 1874. № 9. С. 57.
- <sup>21</sup> Атений. 1858. Кн. 27. С. 60.
- <sup>22</sup> Пушкин. Т. 13. С. 334—335.
- <sup>23</sup> См. об этом: Вацуро В. Э., Гилдельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». 2-е изд., доп. М., 1986. С. 85—86.

## Последняя элегия Батюшкова

### К истории текста

В «Литературной газете» от 23 сентября 1992 года (№ 39) появилась небольшая статья Н. И. Харджиева «Есть наслаждение и в дикости лесов...». Известный текстолог и исследователь русской поэзии XX века обратил к истории текста одной из самых блистательных русских элегий пушкинской эпохи, вышедшей из-под пера К. Н. Батюшкова, уже в это время неизлечимо больного.

Н. И. Харджиев напоминал, что эта элегия — перевод 178 строфы IV песни «Странствований Чайльд-Гарольда» Байрона — существует в двух редакциях. Одну из них сохранил в своей записной книжке 1826 года П. А. Вяземский:

Есть наслаждение и в дикости лесов,  
Есть радость на приморском берегу,  
И есть гармония в сем говоре валов  
Дробящихся в пустынном беге.  
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,  
Ты сердцу моему дороже;  
С тобой, владычица, я властен забывать  
И то, что был, когда я был моложе,  
И то, что ныне стал под холодом годов.  
С тобой я в чувствах оживаю,

Их выразить язык не знает стройных слов,  
И как молчать о них, не знаю!

Шуми же ты, шуми, огромный океан!  
Развалины на прахе строит  
Минутный человек, сей суетный тиран,  
Но море — чем себе присвоит?  
Трудися; созидай громады кораблей...

Эта редакция — «черновая», незаконченная, оборванная. Наряду с ней известна и беловая редакция, где отброшены последние пять строк — начало перевода следующей, 179 строфы байроновской поэмы, — и в строки 6—12 внесены исправления, иной раз весьма существенные. Текст этот был записан на отдельном листке рукою Пушкина и затем напечатан в альманахе «Северные цветы на 1828 год». Он выглядит так:

Есть наслаждение и в дикости лесов,  
Есть радость на приморском берегу,  
И есть гармония в сем говоре валов,  
Дробящихся в пустынном беге.  
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,  
Для сердца ты всего дороже!  
С тобой, владычица, привык я забывать  
И то, чем был, как был моложе,  
И то, чем ныне стал под холодом годов.  
Тобою в чувствах оживаю:  
Их выразить душа не знает стройных слов,  
И как молчать об них, не знаю.

Оба текста были перед глазами уже первых издателей Батюшкова, и для них возникла проблема выбора. Л. Н. Майков, один из самых выдающихся знатоков творчества и биографии Батюшкова в XIX веке, в своем издании 1885 года дал сводный текст: он присоединил к беловой редакции концовку, сохраненную Вяземским, — и также поступили некоторые последующие текстологи (Б. В. Томашевский, И. М. Семенко). В других изданиях (под редакцией Д. Д. Благого, 1934; Н. В. Фрийдмана, 1964) была воспроизведена редакция «Северных цветов», а разночтения приведены в комментариях.

И то, и другое решение Н. И. Харджиев оспорил.

Запись Вяземского, как считает он, зафиксировала «первоначальную черновую редакцию незавершенного перевода Батюшкова». Что касается беловой редакции, то ее вообще не было. В альманахе «Северные цветы» элегия напечатана по беловому автографу Пушкина.

Этот вывод важен и может быть подтвержден дополнительными доводами и наблюдениями, опирающимися